Ночной путь

Едешь с концерта полями на велосипеде —
пар изо рта, за спиною не крылья, а скрипка.
Там, где люцерна курчавилась, цвета камеди,
ныне цвета ноября, земляная присыпка.

Как монолитна окраска осенних предместий —
ржавчина почвы, дома с черепицей чепрачной...
Листья ракитника цвета горчицы и жести
авиапочтой летят на суглинок прозрачный.

Лужи под корочкой, неба ночного зевота,
гланды луны и белёсые пасмы в зените.
То ли оборочкой туча легла, то ли кто-то
мир с вышины пеленает в морозные нити,

то ли, всерьез утомившись, над Фландрией всуе
пряжу во сне растрепали уставшие мойры,
то ли мороз индевеющим дымом рисует
Китежа свет, атлантиду, мираж, лукоморье.

Нет ни души, только холоду в поле не спится,
дремлют коровы в коровниках, лошади в стойле.
Обод шуршит, и мелькают колесные спицы.
Путь зачарован, и странно, ты едешь — домой ли,

близко ли дом, и попутный ли кружится ветер,
воя в колесах, крутя тополей веретена?
Только вопросы, а в небе никто не ответит,
тропку кивком не укажет, клубка не уронит.

Этих минут колдовство только крик петушиный
мог бы протестом взорвать, но по будкам дворовым
носом клюют петухи, прижимаясь брюшиной
к теплым насестам, и спят — не заступятся словом.

Флюгерный кочет, и тот наваждения шалость
трусит прервать, бесполезный скрипучий посредник...
Все мы хлопочем, чтоб слово за нами осталось,
но не узнаем, какое же станет последним.

Пристегнув ремни, рейсом за полночь,
вспоминаешь вдруг ближе к вылету
то ли присказку, то ли заповедь:
будто в город Рим все пути ведут.
В темноте сплошной не видать дорог.
Самолет скользит белой капелькой
через мутный пар, облаков творог,
по материи черной штапельной.

Языком луны воздух вылизан,
отпотев, окно будто вымылось.
Ткнешься лбом в стекло — виден дым внизу,
на дворе трава, снег да жимолость.
Тропка отчая — по росе зигзаг,
от купели до ближней паперти.
Все пути ведут, да не все назад,
и не все белы, словно скатерти.

Далеко внизу видишь крошево
деревень и сел, кровель гранулы.
Самолета след в небе прошвою.
Если ниже взять — не тумана мгла,
и не облако — пух на тополе.
А на западе, вдоль по берегу —
огоньки во тьме, полотно полей,
город-запонка в рукаве реки.

Памяти И. Б.

Все сложилось не так, как говорил
заратустра русской словесности: в алебастре
бумаги, в густом частоколе книг,
набранных во времена чернил
и офсетной печати... Осенний ястреб
в небе, картавым горлом издавший крик,

сгинул, а в атмосфере ионы букв,
с губ улетевших с дымом, вроде Солохи,
все еще держат выдоха суть, озон.
Сердца давно разорвался надутый буф

над рукавом артерий. Для прочих легких,
лирикой живших, гибели птичьей звон

приступом отозвался. Удар, разрыв —
путь тормозной зигзагом кардиограммы
в лунной дорожке мечется на воде.
Стих завершился выдохом, потеснив
воздух, толкнулся эхом к живым в мембраны
и по вертикали отвесно ушел к звезде.

Он превратился в праздношатающуюся мысль,
звуком капнув с пера, хрустнув зерном графита,
астмой паузника рваный вымостив путь,
просто воздухом стал, слов выдохнув смысл,
прежде, как сигаретам, им оборвав фильтры.
И кто-то живой это должен вдохнуть.

Брызгами безотцовщины, сколько их растеклось,
мелких дыханий, по кухням бруклинов, сохо,
боннов, в чужую речь попавших как кур в ощип,
сколько их за стаканов земную ось
держится с дрожью, так и не осилив вдоха,
превозмогая разреженности ушиб.

Что оказалось правдой? Вот разве то,
что удлиненье печали, стремясь к пределу,
только раздвинуло пустоту, и вот
жизнь оказалась длинной, и шапито
неба доныне выдох земного тела –
перья, зрачки, коготки, волоски — несет,

и все это, — хрип, литания, ругань, треск, —
в воздухе утомительной пантомимой
пляшет, сбившись, давно потеряв маршрут,
а взять их назад отказывается наотрез
голос — беззвучный, неуязвимый.
...В сизых аортах каналов, лагун, запруд,

в реках наречий, текущих вбок или вспять,
как говорят, молочных, а честно, мутных, —
там одичавшая речь ловится на блесну,
на языка приманку. Правду сказать,
век русской речи отсчитывается в минутах:
кончившись, стихотворенье идет ко дну.

На берегах рыбаки стерегут улов:
в водорослях элегий и песнопений,
в судорогах волны, в косяках плотиц
шарят шершавым бреднем, добычей слов
значимых бредя, но ловят все больше феню,
ил междометий, лузгу, чешую частиц.

Я не рыбачу. Стою, запрокинув лоб,
в небо смотрю: там в вышине мелькают
скобки, остатки перьев, кавычек дрожь,
все еще вьющаяся поверх европ,
пыльным столбом вращающаяся стая,
невоскресимого мира родная ложь.

Мне повезло. Многоточий сквозных метель,
выцветших до прозрачности глянца,
кружится и у нас, словно обычный снег,
превращая ландшафт на пару недель
в частный сюжет, в пейзаж малых голландцев
с образами коров, домиков и телег.

Поседевшая рябь, белая пестрота
слов попадает в глаз, размывая фокус,
соль страницу щеки переходит вброд.
Дверь открывая, как книгу, летит с листа
младшее стихотворенье, мой лебединый опус,
ясным воскресным утром санки свои берет.

Радуясь холодам, пальцами снег ловя,
щурясь, как будто с солнцем играя в жмурки,
собственнных чар не знающая сама,
жизнь обогнать свою норовя,
дочь выбегает на улицу в теплой куртке
и кричит мне по-русски: «Зима, зима!»

М. Б.

Нынче за семьдесят той, что кренясь бредет
в магазин возле дома купить угощенье внукам,
отмолчавшейся на водопад многословных од,
посвященных ей, четверть века бегущих цугом
из тиража в тираж. Прозрачная, как *вода,*
и никакой косметики, и лицом и в строфах,
вброд переходит лужу, стара, седа,
та, на которую, столько страстей угрохав,
он обозлился в изгнанье. В инициалах
вечно читаясь как некое «может быть»,
в них и осталась; в желчных и запоздалых
истолкованьях — звездочкой сноски рябит.
(Всяк, присоседившись, утешается: празднуй
славу свидетеля!) Выцветя добела,
та, что была когда-то гитарообразной
вещью, в Келломяки в носках спала,
ненаглядным пособьем филологам и славистам

стала, распавшись в фасеточных их глазах
на дифтонги, икты и флексии. В серебристой
спутанной паутине теперь размах
корпий для диссертаций. Тропой окольной
скользя, уклоняясь от вспышек, разъята на
тропы, литоты, в гербарий программы школьной
против воли, похоже, так и войдет она:
скрытными буквами, волокном фитиля
для глагола, храня молчанье, в томах твердея,
в доме пустом, где ни фиников, ни люля,
ни, по апостолу, эллина, ни иудея.

За городом

Из тесных улиц выпорот,
как выпущен в запас,
раскинул руки пригород —
привольно, напоказ,
от городской окраины
в поля рванул стрелой
удравшей от хозяина
собакой молодой.

Свои тропинки выпростав
из улиц-рукавов,
ряды домов порывисто
ветрами распоров,
с околицы, не мешкая,
предместье началось,
как будто бы мережкою
продернулось насквозь.

Прометана, простегана
лужаек пестрота,
канавками, дорогами,
полынью обжита,
прошита по обочинам
стежками медуниц
и стрекотом прострочена
велосипедных спиц.

Цветочным крапом выстлана
земли июньской ткань.
Шмели с тысячелистника
пыльцой взимают дань.
Мерцая синим золотом
в однообразье поз,
на дрожь воды наколота
коллекция стрекоз.

Вскипает духом лакомым
разросшийся тимьян,
ворсистый выгон маками
закапан по краям,
а подорожник, наскоро
протиснувшись вперед,
зеленым лейкопластырем
заранее растет.

В полях, изрытых шахтами
кротов, меж лебеды
с утра играют в шахматы
сороки и дрозды,
за мошками и зернами
охотясь, в свой черед
то белыми, то черными
обозначают ход.

Как обувь, сбросив в городе
брусчатку мостовой,
простор бежит по молоди,
по зелени, босой;
и ширится, и щурится
морщинами дорог, —

пока не юркнет улицей
в соседний городок.

Собственность

«Мое! — сказал Евгений грозно...»

Любить — это, значит, вцепиться:
взахлеб, наобум, сгоряча.
Так в мошек влюбляются птицы.
Так дети азартно кричат:
«Моя!» — выбирая лошадку
из рыжих, буланых, гнедых, —
на миг обладания краткий,
на круг карусельной езды.

Владеть — это тискать и комкать,
и в душу любимую влезть.
Недаром Марина ребенком
стремилась в бумажную десть
стихи переписывать, млея
от слов, признаваясь сама,
зачем: «Чтобы было моее.
Мой Пушкин», — твердила она.

Любить — это, значит, присвоить
и вес обладаньем придать.
«Моя!» — без длиннот и символик
Колхиде сказал Митридат.
О, собственность! Червь опасений,
грызущий нутро гегемон.
Для плоти, земель, каруселей —
подбор сокровенных имен.

Назвать — это, значит, влюбиться,
сродниться до мяса, до дна.
«Тут главное — даже любимцам
не надо давать имена», —
спокойно роняет хозяин,
помост закрепляя в наклон,
телятам взойти помогая
в идущий на бойню фургон.

Иметь — притязать на сохранность
имущества, сладостный долг
господства. Так, даже поранясь
о колья с колючками, волк
объят тяготением вечным
к любви: в каталогах полей
себе выбирает овечку
и нежно считает своей.

Он знает и сам: в загоне.
Мишенями многоточий
размечен. В разделах хроник
пекутся проклятий сочни.
Уйти, не ступив на грабли,
в замалчиванья, в пробелы,
хоть в Переделкине вряд ли
удастся мир переделать.
Он чует душок сенсаций
и пороха запах кислый.
Залечь и не приближаться
к черте оседлости мыслей.
От лая, флажков, картечи
норой уйти, огородом
в туннели косвенной речи,
в подстрочники, в переводы.
Он видит: везде пикеты.
Готовятся бить на взлете.
И он понимает: гетто.
И глухо уходит в Гёте.

Хмыкают: скажешь тоже, что общего между нею и Моцартом?
Грамоты нотной, и той не знала, куда уж до канцонетт
или концертов; так что, мне говорят, крыть нечем, где козырь-то?
Нечем крыть. Ни крышки, ни гроба, да что там — могилы нет.
Так же, как Амадея, тело её, оставленное душой отмучившейся,
волоком дотащили и бросили в общий зловонный ров.
Не о цинизме речь, скорее, о равно=душии: все они шли кучей, всяк
знал, что туда им всем и дорога. В печку ли вместо дров,
в общую душевую ли — а куда же еще-то душам?
Холокост, назовут потом. Стало быть, холо-кости, жилы, хрящей сырец —
все вещдоки размазались сажей, пылью; а хрипы и сип заглушим,
что-нибудь сыграем погромче, того же Вольфганга, Вагнера, наконец.
Голосят теперь: не было этого, и тетрадки ее подделка. То ли верить
нам, то ли нет, — толерантность! Что же до разных правд,
то они так и остались разными: все зависит от стороны двери
с фальшивыми книжными полками в доме на Prinsengracht.

Под токованье птицам отдан сад,
но силу тока не назвать в амперах.
Пуская за разрядом вновь разряд,
искрит гортань, оправленная в перья.
Рукоплеща без устали, с утра
звенит бузинник, музыкой пронизан,
орешника пульсирует кора,
внимает дом, вибрируя карнизом.

Колоратур и трелей череда —
куда там окарине и гобою —
свивается над крепостью гнезда,
короне уподобившись; любое
гнездо — отчасти нимб, венец, кольцо
из терна с дерном, символ постоянства.
На дне его покоится яйцо
округлой оккупацией пространства.

Под замкнутой сферической кривой,
слабей луча и звука невесомей,
колышется и спит под скорлупой
одна из самых странных анатомий.
В укромном уголке, где все углы
закруглены, лежит и дремлет, зрея,
не смерть кощея на конце иглы,
но маленькая певчая трахея.

И как постичь, что этот сонный плод,
набор сырья: желток, белок, канатик, —
немногим позже бойко запоет,
вспорхнув на клен в какой-нибудь канаде,
что вызреет таинственная связь
меж вязкостью и связками, сквозь стенку
проклюнется, взлетит, оборотясь
миниатюрной кузницей акцентов:

мембрана, наковальня, язычок,
удары молоточка, блеск и россыпь.
И если он когда-то на плечо
доверчиво присядет и попросит
за чик-чирик в туннеле декабря,
подай ему, — всего-то крошки грошик.
Пусть свищет вечно, воздух серебря,
пернатый бессеребреник-художник.

Блажен, кто подаянье близ фрамуг
смиренно собирает на кормушках,
отдаривая музыкой, кто звук
дает увидеть в росписях воздушных.
Им всем завещан заповедный сад,
а в нем, как шелком, щелканьем расшитом,
щеглы порхают, иволги царят
и зернышками Хлебников рассыпан.

Эмиграция

Ты знаешь, как надо. Тот горстку земли
и ветку березы возвел
в божки, очутившись от мира вдали,
опомнившись с плачем на гальке кремнистой.
Тот высушил ризу и прежний куплет
из гимна запел, полугол.
А ты медяки уцелевших монет,
утративших цену, пустил на мониста.

Глотнув из чужого на вкус родника,
запей неочищенный сбор
туземных наречий — иначе никак
не выстоять в игрищах робинзонады.
Вплетись волоконцем, безмолвен и тих,
в языческий местный узор:
на десять изнаночных две лицевых.
Да что распинаться. Ты знаешь, как надо.

Из глины слепи возвышения стен,
сложи очага волшебство.

А память затянет обычный рефрен,
пока собираешь глаголов валежник
для топки, не слушай ее, мол, о ком
тут печься и петь для кого.
Роди себе родину и молоком
родного наречия выкорми нежно.

Ты знаешь, как надо. Качается тень
от люльки над миром твоим.
Затоплена печка. В безветренный день,
домой торопясь из полей оснежённых,
увидишь: над ставшим привычным селом
из труб подымается дым
(отечества, нет ли — детали потом),
и держится небо на этих колоннах.

За домом заснеженный сад переходит в овраг,
засыпанный с верхом, от поля идущий помостом
к долине, штрихами полночных бумагомарак —
читай: пешеходов следами — исчерченной вдосталь.
Вдали оловянной заплатой лоснится каток,
февральским морозом добытый из синего тигля.
Гравюру по ветру рисуют во тьме на глазок
серебряных сосен сухие и кислые иглы.

Страницы сугробов отмечены подписью лис,
оставивших вместо визиток другие улики.
Ватага охотников грузно спускается вниз
в долину, неся за плечами граненые пики.
Пейзаж расстановкой фигур повторяет сюжет
готической давности: крыши, деревья, равнина,
зима. У амбара мелькает оранжевый свет,
и пахнет соломой и шерстью из клети овина.

Глядящим с холма открывается снежный размах
простора, зовущего мир рифмовать неустанно,
и манит соблазном писать на широких полях
бумаги — белей не бывает, разгул графоманам.
Во всём откровенья: в привычном предметном кругу,
в слагаемых жизни, в картинах, от древности ветхих,
где черною галочкой может на белом снегу
читаться любая сорока, вспорхнувшая с ветки.

Экскурсия

Моему сыну

Когда сгустившееся пекло накрыло заселённый склон,
в многометровой толще пепла живьём был город погребен.
А ныне он от наслоений очищен, для зевак открыт.
И вот развалины строений к осмотру предлагает гид.
Сюжеты потускневших фресок, длину аллей и колоннад —
он знает все, и голос весок, и прихотлив подбор цитат.

В картинной выставке несчастья, в красотах злополучных мест
есть что-то дикое в контрасте, штрихов сомнительных не счесть.
Пустоты, залитые гипсом, в разнообразье поз и черт —
наглядный памятник погибшим и украшенье бренда «смерть».
Фотографируясь у слепков, роясь над тишиной одров,
жужжат туристы, словно слепни, сосущие живую кровь.

И ты отходишь, цепенея, в отчаянье глухонемом,
держа в себе *свои* помпеи, в подвздошье ощущая ком.
И, сострадая по привычке грести теченью вопреки
всем тем, кого из жизни вычли, чьи души ныне далеки,
кого теперь запанибрата посмертно продают за грош,
в душе несёшь свою утрату и в сотый раз осознаешь,
что ты и сам хранишь трёхмерный, неизлечимо полый след,
и что живёшь, неся каверну, где человека больше нет.